



Е. А. БЕЛОВ

Воспоминания

В июле 1852-го года я перешел на службу в Саратовскую гимназию из Пензы по приглашению инспектора Ангермана ¹, бывшего моего сослуживца в Пензенском дворянском институте, и так как время было вакационное, то я поместился с женою в одном из классов до приискания квартиры. Это обстоятельство было причиною, что я каждый день бывал у Ангермана. На третий или четвертый день вечером к нему случайно зашел молодой человек, с которым меня Ангерман и познакомил. Это и был Николай Гаврилович Чернышевский, преподаватель словесности. Мы разговорились, из гостиной вышли в кабинет, чтобы не мешать общему разговору. Я тотчас заметил, что не столько начатый разговор, сколько застенчивость моего нового сослуживца заставила его последовать за мною в кабинет. В кабинете разговор как-то незаметно и скоро от Саратовской гимназии и Пензенского института перешел к общему положению просвещения в России вообще. Это было время первых годов после падения министерства Уварова ², время, кто теперь этому поверит, гонения на древние языки и введения преподавания естественных наук в гимназии. Я, помнится, уже в Казани в 50-м году слышал, что главною причиною сокращения уроков латинского языка было так называемое дело петрашевцев ³. Зная из слов Ангермана, что Николай Гаврилович был студентом Петербургского университета, я спросил его, правда ли это? «Очень вероятно», — ответил он.

«Что же, были между петрашевцами филологи?» — допрашивал я. «Ни одного настоящего». Разговор не касался совсем пользы или бесполезности латинского языка, а речь шла только о странном предлоге, вызвавшем целую педагогическую реформу

или, говоря откровенно, педагогическую путаницу. Дело было в том, что тогда по Франции стали приписывать изучению древнего мира, именно греко-римского, появление социалистических и коммунистических теорий. Эту нелепость развивал, между прочим, экономист Бастиа ⁴ в особенной брошюре о Баккалорате. *Baccalaureat* — первая ученая степень во Франции, откуда и титул *Bachelier*, бакалавр, для получения этой степени требовалось сдать специальный экзамен из древней истории и древних языков. Дело Петрашевского, приведенное в связь с древней историей и древними языками, дало возможность, кому было нужно, удалить из министерства Уварова ⁵. И не об Уварове речь шла, а о печальном положении развития просвещения в России, которое то и дело подвергалось колебанию вследствие случайностей, к просвещению не относящихся. Внешней стороне реформы мой собеседник не придавал никакого значения.

Когда мы ушли от Ангермана, я проводил его до дому, который от гимназии был очень близко. Дорогою я спросил его о педагогическом персонале гимназии. «Добрые, но скучные люди, поверите, в перемену только и разговору, что об орфографии, то и дело спорят, как писать то или другое слово, и ко мне, как к учителю словесности, беспрестанно обращаются за разрешением спора» ⁶.

«Что же Вы им не скажете: перестаньте совсем писать и сомнений не будет?» Он засмеялся своим заразительным смехом, а потом серьезно стал говорить на тему — да и откуда же и взяться живым научным интересам, когда кругом все мертво?

Кстати сказать, характеристика педагогического персонала была верна, но, однако, не все были добрые люди: один из тогдашних преподавателей, именно К., преподаватель математики ⁷, вскоре совершил экскурсию для собирания денег в пользу якобы педагогического персонала с помещиков, у которых дети учились в гимназии. Персонал, однако, потребовал было поднять дело, но директор А. А. Мейер ⁸, безукоризненно честный человек в денежных делах, боявшийся всяких скандалов, замял дело. Уже после отъезда Н. Г. персонал гимназии преобразовался, благодаря стараниям Мейера.

Такая встреча в Саратове была для меня неожиданностью весьма приятною. В суждениях моего нового знакомого меня поразила одна черта — стремление подойти к корню дела, обобщение, отсутствие интереса к частностям.

Через день он был у меня и пригласил к себе вечером, говоря, что, может быть, к нему кой-кто зайдет. Вечером я был у него; но никого не было. Мы просидели в маленькой его комнате наверху. Я взглянул на заглавие одной книги и сказал ему: «Видно, что в Саратове за святцами сидят». Это был Людвиг Фейербах⁹. «Вы знакомы с ним?» — спросил меня Н. Г. «Знаю только, что это крайний гегелианец из левых и общее его направление по отзывам; но сочинения вижу в первый раз». — «С ним, — горячо заговорил Н. Г., — необходимо познакомиться каждому современному человеку». — «Надеюсь, — сказал я, — вы поможете мне познакомиться?» — «С великим удовольствием». Тут я заметил, что гордая своим идеализмом Германия в последнем направлении ее философии пришла к тому же выводу, как и французы XVIII века, которых она громила. «Да, но хотя более тяжелым, зато более верным путем». Тут Н. Г. особенно напал на Вольтера за его шуточки над религией. «Религия, — говорил Николай Гаврилович, — слишком важное и серьезное дело, чтобы от нее отделяться шуточками. Такие шуточки не дают массе ничего, кроме легкомыслия». Разумеется, на расстоянии почти сорока лет я передаю только мысли его, как говорится, своими словами.

Этот взгляд на Вольтера в несколько смягченном виде высказан был им в его монографии «Лессинг и его время»¹⁰.

Много раз приходилось возобновлять этот разговор на эту тему. Взгляд его на Вольтера был более взглядом философа, чем историка. Историк не может забыть, при каких условиях писал Вольтер, ему не было времени создавать философскую систему в виду жестоких казней, совершавшихся еще перед его глазами. Историк не может забыть и разницу национальных темпераментов французов и немцев. У историка перед глазами ряд конкретных фактов, а не ряд абстракций, выведенных логически одна из другой.

Взгляду Н. Г. Чернышевского на французскую литературу XVIII века при всей его исторической односторонности нельзя отказать в глубине и последовательности, и потому нельзя не пожалеть, что этому взгляду не было возможности развиваться, а он во многих отношениях мог составить противовес разным видам легкомыслия. С такой же последовательностью философа он смотрел и на религиозную реформу XVI века.

У него не было середины между верою, как ее установила церковь, говоря проще, между православием и Фейербахом. Кажется,

сущность его воззрений в этом пункте можно выразить так: «Или верь, как указано, ибо в системе, установленной церковью, нельзя тронуть камешка, не поколебав всего здания, или совсем не верь, пройдя трудный процесс мышления». В этом пункте приблизительно и Герцен был тех же воззрений¹¹. При этом как-то невольно вспоминаются слова, сказанные императором Николаем Кюстину: «Я понимаю республику, но не понимаю конституции-этой жалкой сделки между монархом и народом»¹². Философское развитие этого взгляда, при полной свободе изложения, могло только вызвать благотворную полемику и заставить противников быть столь же последовательными. Образовались бы стройные ряды воззрения в разных направлениях. Но у нас ни одно направление строго последовательно не развивалось со времен самого Ломоносова, что и привело к умственной анархии, среди которой трудно разобрать, кто какого мирозерцания придерживается. Едва ли такая анархия для общества не вреднее свободы философского мышления. Такое положение умов, развивая дух нетерпимости, вредит одинаково всем направлениям, и недаром Ю. Самарин с ужасом говорил, что наша умственная почва выветрилась¹³, только не от реформы Петра, добавим мы. Но как не выветриться, когда сегодня забывают, что говорилось вчера. Вы говорите с человеком, думая, что он помнит, что вчера говорилось, а он забыл и Вас не понимает, и Вы его не понимаете. Коллективную умственную жизнь тогда только можно назвать правильной, когда мыслящие люди не только понимают более или менее ясно высказанную мысль противника, но понимают и мимоходом брошенную мысль. Но этого достигнуть невозможно без строго выдержанных, философски построенных мировоззрений.

У нас строгая последовательность не нравится, говорят: жизнь требует компромиссов. Положим, так, ибо даже исторические воззрения как отражение реальной жизни полны компромиссов. Но в том-то и дело, что в текущей жизни и самые компромиссы, т. е. более или менее удовлетворительные на данную минуту, ибо компромисс не бывает продолжителен, могут быть проведены тоже по соглашению последовательных людей разных мнений.

Во время вакации мы виделись часто, через день, через два много. Как-то, еще перед началом классов, Николай Гаврилович зашел ко мне вечером и спросил, свободен ли я? На утвер-

дительный ответ он сказал мне: «Пойдемте, я познакомлю Вас с хорошим человеком, с очень хорошим». — «С Костомаровым?» — спросил я. «Да». О Николае Ивановиче Костомарове и его ссылке в Саратов ¹⁴ я слышал еще в Казани от его ученика Поссяды, попавшего в Казань по делу общества Кирилла и Мефодия ¹⁵. Я сказал ему в виде *captatio benevolentiae* ¹⁶, что знал его ученика Поссяду в Казани. Николай Иванович с участием стал о нем расспрашивать. Я сказал, что мог. Перед смертью Николая Ивановича и этого Поссяду я встретил здесь, в Петербурге, у него уже разбитым стариком. Здоровье уже не позволяло ему жить даже в средних губерниях, в Малороссии утвердиться ему не дали и его гоняли из города в город по югу и юго-востоку России, отыскивая такой город, где бы не было и звука малороссийского языка. Кошмар сепаратизма, поднятый в «Московских ведомостях» ¹⁷, задел и этого старца. Вслед за нами пришел к Николаю Ивановичу еще гость — Мелантович, умерший в Саратове в 1856 или 57 гг. ¹⁸. Это был поляк, помещик из Могилевской или Минской губернии, молодой человек весьма открытого характера, без малейшей хитрецы вопреки этнографическому ярлычку, приклеенному к слову поляк. Между тем речь от Поссяды, естественно, перешла к делу, за которое и он и Николай Иванович были сосланы. Слово за слово дошло до славян, проект федерации которых через Петропавловскую крепость привел Николая Ивановича в Саратов. Недавний тогда поход русских войск в Венгрию послужил предлогом к спору о политических отношениях в среде народов Австрийской империи. Мелантович и Николай Гаврилович говорили, что венгерский наш поход, кроме вреда, как нам, так и славянам, ничего не принес, что славянам лучше бы всего было бы соединиться с венграми ¹⁹. «То есть как соединиться?» — спросил я. Венгры требовали не соединения, а подчинения, и главные виновники катастрофы были венгры с их властолюбием. «Я не защищаю властолюбивую политику венгров, но говорю, — сказал Николай Гаврилович, — что славянам дальновиднее было даже временно подчиниться венграм, от которых потом легче было бы отделаться». С этим мнением согласиться было нельзя, ибо едва ли вожди хорватов осмелились бы массе предложить подчинение, когда в 1846 году взаимное ожесточение между венграми и хорватами достигло крайней степени ²⁰. Да и когда и где массы в борьбе за свои права являли такую

тонкую дипломатическую хитрость? Николай Гаврилович предъявлял к славянам австрийским слишком большие требования с точки зрения тогдашних общеевропейских дел. Такого требования нельзя было требовать не только от хорватов, но и от более просвещенных чехов, которые, ввиду грозы со стороны Виндишгреца, занимались спорами со словаками, как писать то или другое слово, т. е. из-за вопроса, самостоятельная народность словаки или нет ²¹. Это уже непростительнее хорватского движения за Австрию. Кстати сказать, впоследствии Николай Иванович рассказывал, что Ганка очень огорчился изгнанием орлеанской принцессы из Парижа ²², ибо она была мекленбургская принцесса, мекленбургские герцоги происходят от вождей бодричей, или обитритов! Должно быть, мекленбургских герцогов прочили на престол западных славян. Таковую наивность только и могли проявлять народы, восставшие от векового сна, спросонья. Вообще же этот вопрос Николая Гавриловича занимал постольку, поскольку он считал, с общеевропейской точки зрения, что славянский вопрос будто бы мешал прогрессу. Он не предвидел, что это вопрос скорости. Я не помню, чтобы в продолжение второй половины 1852 года и первой половины 1853 года, пока он жил в Саратове, чтобы он принимал живое участие в разговорах касательно этого пункта. Не раз случалось при нем или у Костомарова, или у Мелантовича много толковать о мечтаниях Бакунина касательно тройственной федерации в будущей Европе, именно романской, германской и славянской, но и к этим мечтаниям он относился более чем с сомнением ²³.

События конца сороковых годов и начала пятидесятых в Европе и вздутое дело Петрашевского привлекли внимание некоторой доли молодежи к социальным вопросам. Я живо помню, как в Казани кандидат Т., вбежав в занимательную казенных студентов, с какой-то радостно-вдохновенной физиономией сообщил об открытии им нового учения. Ему удалось в тот день прочесть где-то изложение учения Фурье ²⁴. Тогда я первый раз услышал это имя. Начались розыски средств ознакомиться с его учением, и, разумеется, обрели. Но пока шли розыски, много было предварительных толков в Старой Горшечной улице в квартире камералиста М. Чулкова, диссертация которого о Табачной регалии напечатана в Юридическом сборнике Дм. Ивановича Мейера ²⁵, много толковалось о вновь открытом учении. Наконец ему удалось достать какую-то брошюру о фурьеризме,

о системе которого профессор политической экономии Евграф Осокин, бывший впоследствии ректором ²⁶, упоминает, как говорил Чулков, слегка. Я, однако, прочел сам ряд его лекций политической экономии. Вслед за тем дело Петрашевского. С наивным недоумением узнали мы, что за Фурье в кутузку сажают!

И было, однако, отчего недоумевать — какова бы ни была система Фурье, но она мирная, не революционная. Фурье враг революции, он заклинал своих последователей идти путем мирной проповеди, женщин — жить сообразно этическим требованиям времени, и трудно доказать, чтобы фурьеристы принимали деятельное участие в свержении Людовика-Филиппа. Это было делом политической и национальной партий. И после нужна была необыкновенная ловкость революционеров, чтобы приверженцев Фурье увлечь в свои ряды, этой ловкости помогли и французские ташкентцы, как и всякие ташкентцы, грубые и жестокие ²⁷. Задумались юноши, а затем весной 1849 года в грубой форме сообщено было студентам, бывшим в столовой, сокращение числа студентов до трехсот ²⁸.

Под влиянием тяжелых мрачных впечатлений покидали студенты университеты в 1849 году.

Прошу извинения, что сделал отступление и говорил о себе, может быть, больше, чем следует; но это необходимо для дальнейшего рассказа и понимания, из чего и что у нас происходит.

С лета 1850 года по лето 1852 года я пробыл в Пензе, где не с кем было переговорить о вопросах, которые меня занимали, и потому немудрено, что я так обрадовался встрече с Н. Г. Чернышевским. В ту пору он был горячий фурьерист, но, как и все люди того времени, фурьерист абстрактный, отвлеченный. Едва ли я ошибусь, если скажу, что было, может быть, не более пяти, шести человек, с которыми он беседовал о социальных системах. И действительно, трудно было говорить с людьми, которые, по выражению Н. Г. Чернышевского, усвоили себе одно, что сенсимонисты застегивали куртки сзади, а Фурье говорил, что у людей для красоты в будущем вырастет хвост. Из-за этих мелочей не разглядели ни грандиозной идеи гармонии страстей, ни анализа последних, ни его гуманных идей о воспитании. И должно прибавить как всегда бывает с слепой ненавистью, — не разглядели самой слабой стороны — излишней сентиментальности, которая своим преобладанием могла разрушить какую угодно гармонию, делая из человека тряпку, если бы могла

осуществиться. Бланки, в истории политической экономики, заметил еще другой недостаток — слишком высокомерное отношение к прошлому. Собственно, об экономической стороне учения Фурье — об отношении капитала к труду и таланту — совсем умалчивалось врагами, последователи не имели возможности об этой стороне его учения высказаться²⁹, что и свело все толки к одному известному пункту.

Как-то я спросил Николая Гавриловича, верит ли он, что в Западной Европе социальная революция рано или поздно победит? «Ненадолго, может быть, — отвечал он, — может быть, спасет Европу от долгов и даст возможность лучше устроиться».

Отдельные мысли, отдельные выражения не дают повода делать широкие выводы, они свидетельствуют только о настроении в данную минуту, и потому, приводя отдельные замечания Н. Г. Чернышевского, я не беру на себя ответственности за чьи бы то ни было произвольные выводы. Так, иногда он говорил, что с удовольствием принял бы участие в полемике западных ученых и что для него все равно, где бы ни жить. Мысль та, что для мыслящего человека отечество там, где можно мыслить. Но в другой раз сказалась притягательная сила почвы. Как-то раз у него вырвалось выражение: «А все-таки я думаю, что мы умнее всех от природы, а только крайне невежественны». Недавно я прочел, что Николай Гаврилович называл поэзию Пушкина бессодержательной, не помню, где он это говорил³⁰; но помню, что он часто цитировал большие отрывки из Пушкина наизусть. Помню тоже раз высказанное им мнение, что «Шах-наме» по содержанию выше Гомера, а это мнение показывает тонкое поэтическое чутье³¹. Время конца сороковых годов и начала пятидесятых, т. е. последних годов царствования Николая, вызвало в некоторой части молодежи более или менее одинаковые вопросы, ответа на которые в университете они не получали. У нас, например, в Казани, новая история совсем не читалась. Наш профессор Н. А. Иванов не всегда был удобен для бесед, особенно к концу сороковых годов, был еще мимоходом профессор Славянский, он прожил в Казани года два, сам снялся и уехал.

В конце сороковых и в продолжение пятидесятых годов всякий, кто не играл в карты, мало где бывал, возбуждал уже подозрения. К счастью, в Саратове того времени был умный и просвещенный губернатор, хотя порой и взбалмошный человек, Кожевников, который очень благосклонно относился к Н. Г. Чер-

нышевскому³². Это обстоятельство дало последнему возможность уехать из Саратова без особой неприятности, ибо тогда уже поднялись против него сплетни. Разумеется, по обычному течению сплетен, из мухи сделали слона. Дело в том, что отсутствие новейшей истории в курсах тогдашних университетов заставляло с особенным жаром бросаться на всякую книжку и интересоваться новейшей историей, к которой нельзя было приступить без истории XVIII века. Поэтому не мудрено, что у нас бывали частые толки о событиях этого века и жаркие споры, особенно о событиях конца XVIII века. Процесс образования партий и их взаимные столкновения возбуждали жаркие споры. Н. И. Костомаров приписывал террор гибели жирондистов, Н. Г. Чернышевский и я доказывали, что террор в бессознательной самоуверенности приготовили сами жирондисты. Разумеется, речь шла о ближайших подготовительных событиях, в жару спора ни от одного пункта не отходили. Н. Г. Чернышевский доказывал, что террор партии горы вызван был и внешними событиями. Войну с Европой сваливал всю на жирондистов, тут я вступал с ним в спор, доказывая неизбежность войны, и в то же время утверждал, что вся политика Робеспьера была односторонняя, что это был характер завистливый и что не 18 брюмера, а казнь Дантона, оклеветанного робеспьеровскою партией, повела к диктатуре³³. Все эти споры не раз возобновлялись и потому мне памятливы.

В другом царстве, в другом государстве об этих спорах не было бы нужды и упоминать; но у нас из этих споров, чисто теоретических, возникали часто практические результаты.

Учителем истории в Саратовской гимназии был тогда один из замечательных педагогических экземпляров — Евлампий Иванович Ломтев³⁴, он служил сначала в Астрахани, потом в Пензе, потом в Саратове, куда девался он из Саратова — не знаю. Про него говорили, что в Астрахани за какое-то объяснение учебника Устрялова он должен был выслушать от губернатора весьма грубые замечания. Можно сказать, что с этих пор он перестал преподавать историю, а только чертил пути походов и планы сражений и, кроме пояснений к этим путям и походам, ничего не говорил. Мудрено ли, что ученики с историческими вопросами обращались к другим преподавателям, я преподавал тогда географию, обращались и ко мне, разумеется само собою, что обращались и к Н. Г. Чернышевскому. При одном из таких вопросов он увлекся, разговорился, нарисовал план залы

заседаний Конвента, обрисовал партии, указал места, где члены каждой партии сидели, и т. д. Молодежь, конечно, была в восторге, по городу пошли толки, что Чернышевский проповедует резолюцию. К этому присоединились и толки об исторических спорах в квартире Н. И. Костомарова и, не хохочите, читатель, наметили даже вождей партии. Прочтя это, читатель может хохотать сколько угодно; но многим эти глупые толки испортили всю жизнь. Конечно, могли, с казенно-педагогической точки зрения, заметить ему, что он забрел в чужой предмет, вдался в излишние подробности, но утверждать, что это было чуть не преступление, даже и с казенно-педагогической точки зрения, мог только человек крайне неразвитой. Директор Алексей Андреевич Мейер очень хорошо понимал, в чем дело; но напор извне был так силен, что Николаю Гавриловичу пришлось выдержать крупное объяснение с Мейером ³⁵. К концу зимы 1853 года Николай Гаврилович стал часто манкировать классами. Он собирался жениться и оставить Саратов.

Все близко знавшие Н. Г. Чернышевского и любили, и уважали его. Отъезд его из Саратова сопровождался грустным для него эпизодом. Умерла его мать, которую он нежно любил и которая на него не могла надыхаться. Я посетил его на другой день ее смерти ³⁶, он провел меня в его комнату наверх. «Вот, — сказал он, — бывают в жизни минуты, когда завидуешь людям, глупо верующим, для меня такая минута — смерть моей матери. Знаешь, что все кончено между нами, загробных свиданий не ждешь, объяснений никаких не будет, а между тем осталось много недоговоренного, остался разлад ³⁷». Я мало знал мать Николая Гавриловича, но из мимолетных разговоров, которые приходилось иметь с нею, у меня составилось впечатление, что характер ума матери и сына одинаковый, даже характер ее остроумия, как казалось мне, перешел к ее сыну. Николай Гаврилович, будучи уже женихом перед смертью матери и собираясь ехать в Петербург, должен был вскоре жениться ³⁸, чтобы не ездить взад и вперед из Саратова в Петербург, из Петербурга в Саратов — и опять обратно. Опять толки — бесчувственный сын. Есть русская пословица: чужая душа — потемки; умная пословица, что и говорить, да только умным-то речам никогда не следуют, и эта пословица, в приложении к частным вопросам жизни, забывается, и в потемках-то мы распоряжаемся, как при солнечном свете. Все знаем, все видим.

С отъезда из Саратова Николай Гаврилович с 1853 по 1864 гг. приезжал в Саратов раза три, четыре в продолжение 11 лет, чтобы навестить своего отца, протоиерея Гавриила Ивановича ³⁹, и едва ли в эти разы проживал в Саратове более 3-х, 4-х недель, а между тем его именем помыкали. Когда в начале шестидесятых годов в Саратове жили студенты, высланные из Казани ⁴⁰, Николай Гаврилович, посетивший тогда отца, ни одного из них не видел, да едва ли тут кто-либо и был из его учеников, а сплетни не прекращались. После проклятого пожара Апраксинского двора ⁴¹ в Саратове сгорел театр, нашлись истеричные барыни, которые кричали, что этот пожар — дело агентов и друзей Чернышевского. Верх дикости и дерзости в суждениях оказался в деле нанесения оскорбления директору Алексею Андреевичу Мейеру. Нанес оскорбление действием один из учеников VII класса ⁴². И это глупое дело, я помню, приравнивали, страшно даже написать, к покушению Ярошевского на жизнь великого князя Константина Николаевича ⁴³, а дело это было так. Должно сказать, что Алексей Андреевич Мейер был человек бескорыстный, желавший гимназии добра, оказавший ей много услуг; но человек бестактный, ворчун ужасный. Вместо того чтобы зараз хорошенько испугать голову молодому человеку, он его, бывало, начнет, что называлось, точить, точит, точит, ворчит, ворчит, а назавтра встретил, хотя бы в коридоре, опять за то же, ворчит и пугает разными страхами, никогда не приводя их в исполнение, и так продолжалось иногда по неделям, пока не подвернется другой молодой человек. Ученики многих хороших сторон его не знали и видеть не могли, а за точенье его не любили. Так было и на этот раз. Мне не раз приходилось защищать Алексея Андреевича. Накануне происшествия у гимназистов и студентов, сосланных в Саратов, было сборище, превращенное молвою чуть не в политическую сходку. На этом сборище ругали Мейера, ругали и меня, как его защитника, Мейер все это разузнал в тот же день. Округ прислал следователя, профессора Кремлева ⁴⁴, бывшего впоследствии ректором, который по всей форме подвергнул перекрестному допросу и Мейера и учеников. Директора уволили, назначили нового. При новом, при Жолкевиче ⁴⁵, гимназия действительно замутилась. Жолкевич вскоре перессорился с учителями из-за поверки дров и каких-то перестроек. С учениками не поладил, да и не мудрено, вместо открытых действий он стал подольщаться, подделываться. У директора стали бить

окна. По приказанию попечителя Штендера двух лучших преподавателей гимназии, Дмитриева и Караваева, без всяких оснований и причин выслали из Саратова ⁴⁶. Ученики сделали им проводы.

Господин директор Жолкевич не постыдился сказать, что ученики, провожая своих преподавателей, останавливались перед моим домом и пели революционный гимн. К счастью, я скоро узнал об этом измышлении, в гимназии я тогда уже не служил, а был инспектором классов и преподавал историю в женском институте, и потому я обратился к директрисе с просьбою, чтобы она собрала совет, и я спрошу Жолкевича, откуда он взял этот вздор? На совете, в присутствии директрисы, губернского дворянского предводителя князя В. П. Щербатова, члена совета по хозяйственной части Мейера и вице-губернатора ⁴⁷, председательствовавшего за губернатора, я доложил о слухе насчет гимна, объяснил, что меня и дома не было в тот день, когда уехали Караваев и Дмитриев, что может подтвердить и начальница института, и все служащие в институте, где я в тот день пробыл от 8 до 4-х часов. Жолкевич замялся и брякнул неслезанную глупость, не сообразивши времени: «Мне писали из Петербурга». А совет был через три, четыре дня по высылке означенных учителей.

В каком извращенном виде события доходят из Петербурга, видно из того, что г. министр Валуев ⁴⁸ отправил в Саратов нового губернатора Муравьева ⁴⁹ со словами: «Саратов в огне», точь-в-точь как в Варшаве. Огней и революций и сам Муравьев не нашел.

Перед высылкой Караваева и Дмитриева приезжал казанский попечитель Штендер, бывший учитель и воспитатель Головнина ⁵⁰, который попечительством и вознаградил его за личные услуги. Но как бы то там ни было, этот выбор не делает чести прославленному министерству Головнина. Путаницу этот Штендер наделал великую. Первым его словом по приезде в Саратов, обращенным к вице-губернатору, исправлявшему должность губернатора, было: зачем не высланы из города Белов и Мордвинов, друзья Чернышевского? ⁵¹ На это и последовал ответ: во-первых, потому, что за ними нет вины, во-вторых, потому, что они занимают места, выслать с которых нужно приказание свыше. Любопытно то, что Н. А. Мордвинов, тогдашний управляющий удельной конторой, и не был знаком с Чернышевским и не любил его, как писателя ⁵².

Из Саратова, как говорили, летели письма в Петербург, и будто бы в одном письме была такая фраза: «Уберите Чернышевского, иначе будет резня!»⁵³. Может быть, этим угрозам и не внимали, а на ус мотали.

Когда совершился приговор над Чернышевским, только один голос раздался за него — это голос Абрама Сергеевича Норова: «Я не люблю, — говорил он громко, — Чернышевского, но осуждение его противозаконно»⁵⁴.

Главный виновник осуждения Чернышевского, генерал Потапов⁵⁵, через несколько лет за свое генерал-губернаторство в Вильне подвергся нареканию, как изменник русскому делу.

Так-то вертелось колесо фортуны.

Каждое событие с начала шестидесятых годов своеобразно отражалось в Саратове, не могла не отразиться и присылка в Саратов поляков. Для характеристики времени это не бесполезно. Прислали поляков, а потом заподозрили всех, кто их принимал. Но это было не обидно, ибо в числе заподозренных домов был и дом тогдашнего саратовского губернатора Барановского, у которого жена была полька. Начались глупейшие сплетни. Про губернаторшу, усердно посещавшую костел, говорили, что она при начале молитвы за государя всегда уходила из костела. Нелепость эта вызывала другую. По предписанию докторов губернаторша должна была пользоваться морским воздухом, и она Волгою и Доном поехала на Черное море и сделала экскурсию в Константинополь. Странно было бы, если бы при таком удобном случае она ее не сделала. Пошли толки, что она ездила для свидания с членами Ржонда⁵⁶. Стыдно говорить о таких вздорах, еще стыднее опровергать подобные нелепости, а между тем Барановский должен был оставить губернию. Должен был оставить тогда Саратов очень хороший опытный доктор Стефани⁵⁷. Немец-лютеранин принят был за поляка, ибо на беду его он носил русское имя Святослава, должно быть, имя это смешивали с именем Станислава. Этого было довольно, чтобы спровадить человека. В последнее время своего пребывания в Саратове он был старшим врачом в городской больнице и доктором при институте. Его причислили к министерству. В Петербурге, при министерстве, ему сказали замечательную фразу: «Мы здесь, в центре, не можем точно знать, что делается на периферии». Утешительно; но только места ему не дали, и он благодаря Елене Павловне⁵⁸ мог приютиться в Ораниенбауме при ее дворцовом управлении.

С Чернышевским он коротко знаком не был и едва ли в первый раз не увидел его там же, где и я, т. е. у Ангермаиа, встречал его у меня и у Костомарова, и, кажется, философия Фейербаха была единственным пунктом, около которого при встречах вертелся их разговор.

Тогда вскоре был выслан еще доктор Минкевич, которого в Саратове не было, когда Чернышевский был там учителем, и только во время приезда в Саратов Чернышевского из Петербурга ⁵⁹ он уже раз или два встречал его у меня.

И вот всех этих господ величали кружком Чернышевского! Считаю нужным заметить, что все эти бури в стакане воды набросаны мною с отъезда Чернышевского из Саратова без точной хронологической связи.

В 1864 году я оставил Саратов. Здесь собственно и должна кончиться моя записка.

Но чем же особенно Чернышевский возбудил против себя раздражение в публике? Обыкновенно говорят — распространением социализма и особенно фурьеризма в романе «Что делать?». Но роман этот написан уж в крепости. Им была окончена литературная его деятельность до возвращения его из ссылки. В истории развития идей есть общеизвестный факт, что враги вновь появившихся идей гораздо сильнее распространяют их своей неумеренной враждой, чем сами проповедники. В одной ожесточенной статье, направленной против социализма вообще и против фурьеризма и овенизма в особенности, есть такая заметка о Прудоне: Прудон был единственным социалистом, который признавал свои ошибки и не раз высказывал сожаление о том, что мог написать слишком знаменитое «la propriété c'est le vol» ⁶⁰ («Русский вестник», ноябрь 89 г., критика книги Щеглова ⁶¹). «У нас, добавляет критик, — Прудона и знают только, как автора этого изречения, и представляют его противником собственности». Но кто в этом виноват, как не слепые противники Прудона, то и дело десятки лет приводившие эту фразу урывочно, без связи с общим ходом идей Прудона? Не знаю, зачем было каяться Прудону в этой фразе, она не его, он взял ее у Бриссо ⁶². Масса публики могла быть заинтересована теми статьями Чернышевского, где он говорил о социализме; но так как он нигде вполне определенно не излагал той или другой системы, то едва ли он мог этими статьями вызвать такую, часто бессознательную, вражду к своему имени.

Они получили значение относительно возбуждения ненависти к нему только благодаря тому обстоятельству, что они приложились к статьям о злоупотреблениях интенданства во время Крымской войны ⁶³ и к статьям о крестьянском вопросе.

Во время разгара вопроса о наделе крестьян землею один помещик поместил в тогдашних «Петербургских ведомостях» коротенькую заметку, в которой встречается такое глупое и дерзкое восклицание: «Государь дает нам, а Чернышевский отнимает!» Речь идет о слишком дешевой оценке помещичьих земель, отходивших в наделы ⁶⁴.

И относительно этих статей слепая вражда не заметила хороших мыслей, выгодных и для крестьян, и для помещиков, именно Чернышевский стоял за проект, чтобы тягость уплаты за выкуп разложить на все государство.

Поставивши это дело во главе, можно лучше уяснить судьбу Чернышевского, и нет нужды вводить кого-нибудь в заблуждение и закрывать ход последующих событий фигурой Веры Павловны из романа «Что делать?» и ее нейтральной комнатой ⁶⁵. Кроме людей, до старости не вышедших из детства, и людей себе на уме, никто не верил в опасный революционный характер нейтральной комнаты. Много было потом тяжелых и страшных минут, но за дикими криками «Социализм», «Вера Павловна», «Что делать?» слышалось что-то другое, а что разобрать было трудно.

Все высланные и уехавшие из Саратова более или менее легко пристроились; но мне искание места летом 1864 года осталось памятным. Пришлось походить на Казанскую в Четвертое отделение Собственной его императорского величества канцелярии и к покойному Николаю Алексеевичу Вышнеградскому ⁶⁶ до осени.

